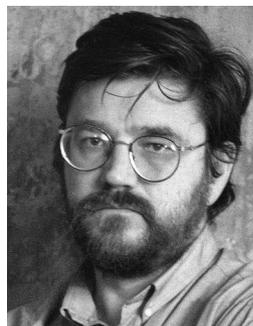




ПАВЕЛ КУЗНЕЦОВ

Философ

Автор многочисленных работ по истории русской и западной философии, литературы, кинематографа. С 1988 года регулярно печатается в журналах «Вопросы философии», «Новый мир», «Звезда», «Октябрь», «Русская мысль», «Посев» и др. Занимался историей русского зарубежья. Соредактор философского журнала «Ступени». Член Санкт-Петербургского союза кинематографистов и Союза российских писателей.



МЕТАМОРФОЗЫ РЕВОЛЮЦИЙ: 1789, 1917, 1991

Послесловие к Жозефу де Местру и Александру Солженицыну

2011 год стал очередным годом революций: 20-летие крушения СССР совпало с катастрофическими событиями в арабском мире, продолжающимися и по сей день, — в Египте, Тунисе, Ливии, Сирии, — чьи последствия по-прежнему трудно предсказать. Перечень стран, где революции в принципе возможны, — от Кубы, Белоруссии, Северной Кореи, Грузии вплоть до России, — растянется на полстраницы.

Несомненным эталоном на все времена стала Великая французская революция 1789 года, которой до сих пор гордится большинство французов, помпезно отмечающих каждый год 14 июля как главный национальный праздник (правда, в Вандее, наоборот, отмечают годовщину контрреволюции). Российской же революцией 1917-го мало кто гордится — причины очевидны, о них не следует долго говорить. 1991 год стал годом очередной российской революции и крушения незыблемой, казалось бы, советской империи.

На первый взгляд, у этих трёх событий не так много общего. Если у французской монархии 1789-го и Российской империи 1917-го всё же можно обнаружить немало сходных черт (именно поэтому обе революции сравнивались неоднократно — от П. Сорокина до А. Солженицына), то что общего между монархией Бурбонов и марксистским режимом в СССР середины 80-х? Что схожего в их крушении? Эмпирические раз-

личия огромны. Скажем, в мононациональной Франции революция разворачивается под национальными знамёнами: патриот, демократ, революционер — синонимы. Для большевиков же «патриоты», «спасители России» — враги революции, у пролетариата нет отечества; 1991 год вновь разводит «демократов» и «патриотов» по разные стороны баррикад. Но внутренние, глубинные закономерности катастрофических событий 1789–1815, 1917–1953 и 1986–2001 годов, их религиозные и метафизические основания обнаруживают на удивление много общего. П. Сорокин в своей «Социологии революции» делит все мировые революции (от античных до современных) на два основных этапа: собственно революционный период и период спада и реакции. Схема слишком элементарна и совершенно неудовлетворительна. Новейшие революции проходят более сложный и многоступенчатый путь.

І. Диктатура литераторов

«Литература», которая была «смертью своего отечества»... Этого ни единому историку никогда не могло вообразиться... Ещё никогда не бывало случая, «судьбы», «рока», чтобы «литература» сломила, наконец, царство, разнесла жизнь народа по косточкам, по лепесткам... — завертела, закружила всё и переделала всю жизнь... в сюжет одной из повестей гениального своего писателя — «Записки сумасшедшего».

Василий Розанов

Розанов написал эти слова в роковые годы русской революции и был убеждён, что именно русская литература и, соответственно, интеллигенция с её особым, исключительным характером в первую очередь виновна в национальной катастрофе. Именно с его лёгкой руки уже почти столетие эта легенда гуляет по страницам книг и журналов. Идея об исключительной — и одновременно роковой и трагической — роли литературы на Руси звучит и в «Опавших листьях», и в «Апокалипсисе...». Но её квинтэссенция — текст под названием «С вершины тысячелетней пирамиды (размышления о ходе развития русской литературы)», написанный перед смертью в 1918 году, но опубликованный впервые лишь в 1991-м. Собственно, это не столько текст, сколько предсмертный крик Розанова, поминальный плач, стон, хула, где восхищение перемешано с разочарованием и горечью. История русской литературы, по Розанову, — «явление великое, настолько исключительное, что может называться „всемирным явлением“ — независимо несколько от своих талантов...».

Почему? Потому что в силу своей сакральной, магической роли она подчинила себе и в конце концов заменила собой жизненную реальность: «„Литература“ в каждой истории „есть явление“, а не суть. У нас же она стала сутью. Войны совершались, чтобы беллетристы их описывали („Война и мир“, „Севастополь“, „Рубка леса“, „Красный смех“ Леонида Андреева), и преобразования тоже совершались, но — зачем? Чтобы журналисты были

несколько тоже удовлетворены. Если „освободили крестьян“ — то это Тургенев и его „Записки охотника“, а если купечество оставили в презрении — то потому... что там было „Тёмное царство“ Островского... Цари как-то пошли на выставку к Пушкину, Лермонтову и Жуковскому или попали под презрение Максима Горького и Леонида Андреева с его „Семью повешенными“. Наконец, даже святые праведники церкви рассортировались в старцев Зосим и Ферапонтов Достоевского или пошли в анекдот „Мелочей архиерейской жизни“ Лескова».

Отсюда следует сокрушительный вывод: подчинив и заменив собой реальность, литература стала причиной гибели «тысячелетнего царства», величайшей империи Нового времени. Русская литература создала виртуальную реальность, образы и архетипы более мощные, чем сама жизнь, которая вольно или невольно стала их имитировать. Означающее стало важнее означаемого... Розанов пишет страстно, запальчиво, приводя разнообразные примеры и аргументы, и необыкновенно убедительно — обвиняя литературу, он втайне гордится ею: великая, удивительная, ни с чем не сравнимая! Как можно ему не поверить?! Кстати, вслед за Розановым эту мысль на все лады повторяют и современные критики: «Русскую жизнь изуродовали хорошие книги, для меня это даже не аксиома, а тысячекратно доказанная теорема, не априори, но апостериори» (Б. Парамонов). Но, увы, Розанов и его последователи заблуждались. Точно так же, если не более радикальным образом, происходило и 200 с лишним лет назад, во времена, предшествующие Великой французской революции.

«Всё это сделали книги», — говорят, эти слова обронил Вольтер незадолго до смерти в 1778 году, уже предчувствуя надвигающуюся грозу. О влиянии идей французских просветителей-энциклопедистов на события 1789-го написаны целые тома и нет смысла говорить об этом снова. Интеллектуальная артподготовка в XVIII столетии длилась более полувека и была точной и целенаправленной. Это констатируют и правые и левые, но, разумеется, по-своему. Более того, согласно уже недавнему и почти классическому исследованию Франсуа Фюре «Постижение Французской революции» (1978), историография революции была по преимуществу левой — якобинской или близкой к марксизму. Именно поэтому хотелось бы напомнить о размышлениях консерваторов и «реакционеров», сослаться на которых в современной либеральной и левой историографии считается дурным тоном.

Солженицын: «Революция произошла в духе раньше, чем в реальности, власть была обессилена философами, публицистами, литераторами. Идеология задолго, и беспрепятственно, опережала революцию и распространялась в образованных умах. Эта идеология (в России по отношению к Франции наследственная) исходила из принципиальной добродетельности человеческой природы, помехами которой только и являются неудачные социальные устройства»¹.

Даже историки-марксисты, вечно напирающие на базис и классовую борьбу, подчёркивают, что идейную основу для революции создали философы-энциклопедисты, публицисты, а затем журналисты и политические писатели. А после открытия 5 мая 1789 года в Версале заседания Генеральных Штатов (17 июня провозгласивших себя Национальным Собранием, а позднее Учредительным), ещё до взятия Бастилии, во Франции возникло совсем новое явление: «Рождение великого множества газет. Новым было и множество листовок, брошюр, воззваний, обращений к народу. Невиданный ранее поток политической литературы затопил страну; вернее сказать, города, так как в деревне крестьянство в подавляющем большинстве было неграмотно»².

Это аксиома — вопреки марксистским тезисам революции, в отличие от бунтов и мятежей, начинаются с «надстройки», а не с «базиса»: «В обеих революциях ясно видно рождение сверху, никак не сравнишь, например, с пугачёвским мятежом»³. Консервативный мыслитель и создатель «Аксъон франсэз» Шарль Моррас в своей замечательной книге «Об интеллигенции» (1905) ещё более радикален: «Революционная эпоха была высшей точкой диктатуры литераторов. Когда мы пытаемся охватить одним словом три революционных законодательных собрания, когда мы ищем общий знаменатель для этого сборища деклассированных дворян, бывших военных и бывших капуцинов, то им оказывается всякий раз слово „литератор“. В этой литературе можно найти все признаки упадка, но временно она торжествовала, правила и управляла. *Ни одно правление в истории не было столь литературным*» (курсив мой. — П. К.). И далее: «... Абсурдная победа письменности была полной. Когда исчезла королевская власть, а она уступила своё место не „народному суверенитету“ (как это обычно говорится): наследником Бурбонов был литератор»⁴.

Преувеличение? Возможно. Ипполит Тэн в своё время говорил о «республике литераторов», современный историк Роже Шартье говорит о «литературизации политики»⁵. Моррас писал о том же самом, но более резко: точнее было бы сказать: «адвокатов и литераторов», но в большинстве своём и адвокаты — народ пишущий. Разумеется, речь не идёт о непосредственном влиянии большой литературы, которую Розанов обвинял в гибели России; речь идёт о памфлетах, эссе, журналистике, переводящей на доступный язык философско-политические идеи, рождённые в высоких кабинетах.

Посмотрим, кто задавал тон в Национальном собрании. Аббат Сийес, автор «Эссе о привилегиях» и сделавшей его знаменитым брошюры «Что такое третье сословие?»; Бриссо — будущий лидер жирондистов, публицист, журналист. И наконец, самая громкая фигура первого этапа революции, блестящий оратор граф Мирабо, автор «Опыта о деспотизме», историк и публицист. Даже провинциальный адвокат, на которого долгое время никто не обращал внимания, депутат от Арраса Максимилиан Робеспьер был начинающим публицистом, автором брошюры «К народу Артуа»

и восторженного «Посвящения Жан-Жаку Руссо», которые принесли ему известность в своём департаменте, благодаря чему он и стал депутатом. И все будущие вожди революции, как жирондисты, так и якобинцы — «друг народа» Марат, Камилл Демулен (адвокат и публицист одновременно), Дантон, Сен-Жюст, — получают известность либо как журналисты, либо как издатели газет. Где-то чуть дальше — епископ, будущий князь, министр и дипломат Талейран. Маркиз Лафайет, генерал, герой Американской революции на этом фоне выглядит некоторым исключением... но это не меняет сути дела: главное — все они *медийные* персонажи, как сказали бы сегодня, а получить известность тогда можно было двумя путями: публицистикой или адвокатскими речами.

Если вспомнить 1917-й, то кто задавал тон во Временном правительстве и в Совете депутатов? Профессиональный историк и публицист Милюков, адвокат и журналист Керенский, военный комиссар, террорист, романист (талантливый!), публицист Борис Савинков, журналист-эсер Чернов и т. д. Большинство меньшевиков — от Мартова до Либера и Дана — принадлежали к пишущей братии, как, впрочем, и значительная часть как левых, так и правых эсеров. Что же касается пришедших им на смену большевиков, то в их верхушке трудно обнаружить человека, который не оставил бы объёмистое литературно-публицистическое наследие: Бухарин, Троцкий, Сталин, Каменев, Луначарский, Стеклов... и так вплоть до Ларисы Рейснер.

Следует лишь добавить, что в известной анкете начала 1920-х Предсовнаркома Ульянов-Ленин в графе «профессия» с присущей ему скромностью написал: литератор.

Исторические параллели всегда рискованны — они могут вести к излишней модернизации событий давнего прошлого. Но категорическое высказывание Шарля Моррасса нам что-то мучительно напоминает... Не только 1917-й, но и, скорее, 1985–1988-й, когда в реальности почти ничего не происходило, но революция уже бушевала на страницах толстых и тонких журналов, газет, которые зачитывались до дыр. Одна небольшая статья, даже «письмо в редакцию» делали человека знаменитым на всю страну, и через год-другой он становился депутатом, человеком власти, полноправным творцом новых законов.

Все большие революции начинаются именно с власти по-своему ярких персонажей: литераторов, адвокатов, публицистов, политиков, чьи тексты и речи направлены в первую очередь против сословного неравенства и на «борьбу с привилегиями», на защиту свобод, прав человека и всеобщее благоденствие. Именно с этого начали свою политическую карьеру и «крот революции» аббат Сийес и, например, будущий первый президент Российской Федерации.

«Человек рождён свободным, а между тем он везде в оковах», — звонкая фраза из трактата мечтателя Руссо, направленная против любого неравенства, — ключ ко всем революциям.

II. Стихии (пассионарность)

Пойдём на весенние улицы,
 Пойдём в золотую метель,
 Там солнце со снегом целуется
 И льёт огнерадостный хмель.

Зинаида Гиппиус. «Юный март» (1917)

«Взятие Бастилии» можно обозначить как условный символ, который станет реальностью либо в начале, либо, напротив, в самом конце революционных потрясений.

Начало любой революции — эйфория: ликующая толпа, всеобщий восторг, просветлённые лица, радостные шествия — «здесь танцуют»; поэты славят свободу, жандармов бьют в 1917-м, памятник Дзержинскому свергают в 1991-м. Конечно, Бастилия (по разным данным — от шести до двадцати «преступников») и Лубянка с её 70-летней традицией — вещи качественно схожие, но количественно несовместные в исторической перспективе. Ликование же людей, опьянённых внезапно свалившейся на них свободой, всегда похоже.

Основная тенденция революции, подчёркиваемая и Солженицыным, — её неумолимая радикализация, смещение *влево* (впрочем, почему всегда происходит именно так, Солженицын не анализирует). Начавшись сверху, поддержанная снизу, она неминуемо превращается в стихию, увлекающую за собой всех и вся, чему никто и ничто не в состоянии противостоять. Здесь лишь одна закономерность — «дальше, дальше, дальше!». Так происходило и в 1789–1792, и в 1917–1918, и в 1986–1991 годах. Это прекрасно иллюстрирует и литературная составляющая: ещё вчера самые громкие, вызывающие, скандальные тексты, статьи, воззвания, даже повести и романы, написанные на злобу дня, стареют через месяц, неделю или даже через несколько дней после их опубликования.

В своих пророческих «Размышлениях о Франции» Жозеф де Местр набрасывает своеобразную *теологию революции*, которая окажет значительное влияние на последующую консервативную мысль. Все революции — это неудавшиеся попытки человека подчинить себе Клио и сознательно ею управлять. Разумные и часто добродетельные люди искренне стремятся к прекрасным целям — к свободе и процветанию рода человеческого. Но по иронии судьбы Клио рано или поздно *ускользает из-под контроля*, ведёт к прямо противоположным результатам, превращая кукловодов революции в марионеток или в диктаторов и палачей, выбирая на вершины власти случайных людей.

Стихия, громоздящая друг на друга события, превращается в самостоятельную силу, которая поднимается над самыми прозорливыми и авторитетными вождями и ведёт за собой идеологов, лидеров, народ, в конце концов превращаясь в никем и ничем неостановимое движение из ниот-

куда в никуда. Де Местр, в отличие от других роялистов и контрреволюционеров, как никто другой понимает грандиозность происходящего и видит в нём глубокий *провиденциальный смысл*, проявление Божественной воли, карающей за грехи как нового, так и старого режима. (На языке Гегеля, не без влияния де Местра, это именуется «хитростью мирового разума», который всегда спутывает карты и человеческие планы.) «Самое поразительное во французской революции — увлекающая за собой её мощь, которая устраняет все препятствия. Этот вихрь уносит как лёгкие соломинки всё, чем человек мог от него заслониться: никто ещё безнаказанно не смог преградить ему дорогу...»⁶.

Революция всегда громит господствующую религию — в 1789–1793 и в 1918–1922-м католичество и православие соответственно. И творит свой новый, языческий культ, со своими божествами, святыми, житиями, мощами, идолами, расставленными по всем городам и весям. Наконец, вводит новый календарь, как это сделали французы и чему без особого успеха пытались подражать большевики. Французская революция задаёт матрицу — первая в новой истории осуществляет невиданный разгром церквей, разграбление алтарей, унижение и уничтожение духовенства, а главное — неслыханные кощунства! Большевики не только с утроенной силой копируют французов, но и вносят много нового. Без собственной квазирелигии революция лишается пассионарности и быстро затухает. Как и без своей эстетики и театральности: и тут и там площадные действия, шествия ряженых, своя символика, костюмы, декорации — театрализацию отмечают и Ф. Фюре, и другие исследователи.

В 1991 году по понятным причинам этого не произошло. Было естественное умирание коммунистического культа, а возрождаемое православие не могло стать «религией революции», поэтому и «пассионарность» оказалась слаба. Кроме «прав человека», либерализма и поклонения золотому тельцу предложить было, в сущности, нечего.

Забегая вперёд, следует заметить, что именно благодаря этой пассионарной стихии революционные армии способны творить чудеса (Солженицын это полностью отрицает). И сколько бы ни твердили о военном гении Бонапарта (бесспорном!), тем не менее совершенно необъяснимо, каким образом французы, в предшествующие два столетия никак не отличавшиеся особой воинственностью и военными успехами, смогли не только многократно разгромить все европейские армии, но и за несколько лет подчинить себе всю Европу. И как иначе объяснить, что необученные и плохо вооружённые красные орды, гонимые безумными комиссарами (среди которых Бонапартов не наблюдалось), с их идеей всемирной революции и тотального освобождения человечества от власти Мамоны, смогли разгромить и профессиональные белые армии, и интервентов, и захватить и скоммунизить гигантскую Империю, включая Дальний Восток, Закавказье, исламский Кавказ и мусульманскую Среднюю Азию, — и если бы не провал под Варшавой, дойти до сердца Европы!

III. Террор

В июне 1917 мало кому было ясно, насколько легче революции входят в логику своего безумия, чем в разум своей истины.

Фёдор Степун

Очевидно, что террор является закономерным фактором любой большой революции, более того: если нет террора, то нет и революции. Всякая революция ведёт к террору, который в определённом смысле показывает её значимость и величие. Теперь всем известно: Клио кровожадна, она требует жертвоприношений. Но когда-то это ещё не было аксиомой, и нельзя утверждать, что будущие вожди изначально были нацелены на террор. Напротив, в большинстве своём они искренне помышляли лишь о правах человека, всеобщем счастье и благоденствии. Что общего у Руссо, автора не только «Общественного договора», но и сентиментальных «Прогулок одинокого мечтателя», с террором? Да, его с юности почитали как учителя едва ли не все главные действующие лица революции — от Робеспьера до Бонапарта. Все были «руссоистами» — накануне революции в Париже его читали на каждом углу. Каким образом риторический зачин «Общественного договора» — «человек рождён свободным, но он везде в оковах», — заставлявший трепетать сердца сотен одиноких мечтателей, по воле рока превратит их в палачей и диктаторов? Потому что трудно найти высказывание, более далёкое от истины? Но разве мириады ложных истин, выраженных литераторами и философами, всегда вели к конвейерным расстрелам, концлагерям и гильотине?

Ещё раз обратимся к Жозефу де Местру: «С полным основанием было отмечено, что французская Революция управляет людьми более, чем люди управляют ею. Это наблюдение очень справедливо, и хотя его можно было бы отнести ко всем великим революциям, однако оно никогда не было более разительным, чем теперь...

Никогда Робеспьер, Колло или Барер не помышляли об установлении революционного правительства и режима Террора. Их к этому незаметно привели обстоятельства», — говорит Де Местр и с надеждой добавляет: «да никогда больше не случится подобное... Эти невероятно посредственные люди подчинили *виновную нацию* (курсив мой. — П. К.) напугающему деспотизму из известных в истории, и обрётённое ими могущество наверняка поразило их самих больше всех остальных...»⁷.

Опять-таки преувеличение реакционера? Вспомним факты.

30 мая 1791 года в Учредительном Собрании произносит речь тогда ещё не столь знаменитый адвокат Робеспьер. Два года спустя, после выступления генерала Лафайета (отвергнутого большинством), он вновь вносит

предложение отменить смертную казнь... Более того, в мае уже 1792-го «Неподкупный» (тогда его мнение разделяли и Марат, и большинство якобинцев) считал, что вопрос о монархии или республике не имеет принципиального значения, и в конечном счёте высказывался против республики (этим его обычно попрекали марксистские историки)⁸. А всего два с половиной года спустя (5 февраля 1794-го) Робеспьер даст в своём роде гениальную формулу обоснования террора, которая станет вдохновляющим примером для будущих поколений. Он начинает с того, что любые новые победы революции неизбежно ведут к *усилению про-исков её врагов* (можно вспомнить сталинский плагиат 1930-х), и создание «республики добродетели» без террора невозможно: «Движущей силой народного правительства должны быть одновременно добродетель и террор — добродетель, без которой террор пагубен, террор, без которого добродетель бессильна. Террор — это не что иное как быстрая, строгая, непреклонная справедливость, и она, следовательно, является эманацией добродетели»⁹.

Позднее эту формулу отчеканит с афористической точностью благородный марксист-фабрикант Фридрих Энгельс: «Общественный договор Руссо нашёл своё осуществление во времена террора».

Это кажется фантастическим, но 22 прериаля (10 июня) 1794 года, за полтора месяца до своей гибели якобинцы в Конвенте, прокладывая себе самим дорогу на эшафот, предельно упрощают судопроизводство в Революционном трибунале. Предварительный допрос обвиняемых и институт защитников отменяется, присяжным достаточно только «моральных доводов» — внутреннего убеждения в виновности обвиняемого (через 125 лет эти «упрощения» с некоторыми поправками у них заимствуют большевики), и для всех дел, рассматриваемых Трибуналом, предусматривается лишь одна мера наказания — казнь!

«Наконец, чем больше наблюдаешь за кажущимися самыми деятельными персонажами Революции, тем более находишь в них что-то пассивное и механическое. Никогда не лишне повторить, что отнюдь не люди ведут революцию, а что сама революция использует людей в собственных целях. Очень верно, когда говорят, что она *свершается сама собой*. Эти слова означают, что никогда доселе Провидение не являло себя столь зримо в человеческих событиях»¹⁰.

Что это означает? Вожди становятся марионетками, идеологи — конформистами, тщетно пытающимися успеть за скоростью потрясений, люди, которые всеми силами искренне хотят творить добро, оказываются во власти всеохватывающих стихий зла. Философ Ф. Степун, в 1917 году не за страх, а за совесть поработавший и на фронте, и во Временном правительстве, вспоминает, как, несмотря на счастливые «минуты роковые», он всё больше и больше оказывался во власти этих пассионарных стихий. Эти месяцы, говорит он, «остались у меня в памяти временем предельного ущемления

моего „я“, т. к. вместо меня во мне всё время жил некий, не во всём сливающийся со мной „субъект действия“. Вынужденный ежедневно и даже ежедневно добиваться каких-то необходимых для дела конкретных результатов, этот субъект неустанно требовал от меня, чтобы я подавлял свои сомнения и пристрастия»¹¹. Это тонкое замечание как раз и говорит о том, что даже вполне разумные люди, стремящиеся служить добру, оказываются во власти сил, которые всецело подавляют и подчиняют их себе.

Изначально террор направлен против Врагов — роялистов, монархистов, контрреволюционеров, — но очень быстро, внезапно, неожиданно и необъяснимо он обращается против *своих*: умеренных революционеров, жирондистов или, напротив, слишком «левых», «бешеных» и, конечно же, против бесчисленных «изменников» и «предателей». Ф. Фюре в противовес «якобинским» трактовкам справедливо полагает, что борьба происходила между не «классовыми врагами», а идейными противниками, чаще всего близкими по статусу, но и это не объясняет эскалацию террора. Языческие боги революции жаждут крови всё большей и большей: стремительность перехода террора от врагов *к своим рационально* непостижима. Гильотина работает бесперебойно. Как было замечено не так уж давно: революция начинается с Руссо, но свершается по маркизу де Саду — тогда ещё писателю никому не известному. В России же эта охота на ведьм растянется на долгие годы: большевики тоже первым делом изгоняют или уничтожают *чужих* — либералов, кадетов; правых, затем левых эсеров; анархистов, меньшевиков; интеллигентов и любых инакомыслящих добивают или изгоняют в 1920-е. Но для *своих* Клио по необъяснимым причинам сделает паузу, которая продлится почти 15 лет, до 1936–1939-го.

IV. Жертвоприношение: казнь короля

Убивать жертву преступно, поскольку она священна...
но жертва не будет священной, если её не убить.

Анри Юбер, Марсель Мосс

Языческие стихии, развязывающие эскалацию насилия, в любой большой революции раньше или позднее доходят до своей кульминации — сакрального жертвоприношения: казни (или же низвержения и изгнания) монарха.

Король Англии Карл I Стюарт взошёл на эшафот в Лондоне, на площади перед Уайтхоллом, 30 января 1649 года. Король, стремившийся к абсолютной власти над Парламентом и Церковью, жёстко противившийся её любому ограничению, после кровопролитной гражданской войны был предан суду, признан тираном, изменником и врагом отечества. По свидетельству современников, толпа на площади находилась в шоковом состоянии — публично казнили наместника Бога на земле! После казни

палач поднял голову короля, но не осмелился произнести сакраментальные слова: «Вот голова изменника».

Король Франции Людовик XVI Капет, в противоположность Карлу во многом шедший на уступки революции и даже поддерживавший её (как, например, 4 февраля 1790 года), человек совсем не жестокий по характеру, тем не менее был предан суду Конвента, приговорён к смертной казни и 21 января 1793-го гильотинирован в Париже. Сравнивая эти два беспрецедентных для новой европейской истории события, де Местр особо подчёркивает либо полное равнодушие, либо восторг французов, в противоположность привязанности и состраданию англичан к своему королю: «Одной женщине достало мужества не склониться перед судьями и, рискуя жизнью, возразить, говоря, что вторая часть нации не обвиняет короля; беременные женщины наносили себе раны в день казни; а Палач... не осмелился показать своё лицо народу, он был в маске...»¹².

Граф де Местр мечет громы и молнии: в этой казни безвинной жертвы, «козла отпущения» *виновна* вся французская нация. Казнь наместника Бога на земле — это не просто преступление (он ссылается на шекспировского «Гамлета»), это вызов Богу, открытие бездны, куда рухнет не только государство и его структуры, но и тысячи, десятки тысяч как виновных, так и безвинных людей. Он предсказывает, что «каждая капля крови Людовика XVI обойдётся Франции потоками крови. Четыре миллиона Французов, быть может, заплатят своей головой за великое народное преступление — за противорелигиозный и противообщественный мятеж, увенчавшийся цареубийством»¹³.

Это страшноватое пророчество как для французского, так и особенно для российского исторического опыта (после расстрела в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге) выглядит похожим на правду. Как можно постичь едва ли не мистическую пирамиду грядущего террора: недавние жертвы становятся палачами, их уничтожает следующее поколение; на их место приходят другие, но ещё и ещё раз палачи становятся жертвами. Можно лишь повторить: террор не различает ни виновных ни безвинных, ибо виновными оказываются *все*.

Если в древних обществах сакральное жертвоприношение, являясь онтологической необходимостью, защищает весь коллектив от его собственного насилия и в определённом смысле укрепляет единство нации¹⁴, то в новейшей истории, будучи изначально направлено на эту же цель, жертвоприношение, напротив, скрепляет кровью лишь часть общества и развязывает руки для насилия над другой, несогласной, над «противниками» и «врагами». После Казни все табу, запреты, границы рушатся, ящик Пандоры открыт, и языческие стихии окончательно выходят из-под человеческого контроля. Боги жаждут крови.

V. Боги жаждут: Сатурн пожирает своих детей

Самые видные люди революции получали какую-то власть и известность... только в революционной струе. Как только они пытались плыть против течения или хотя бы отклониться от него, стать в стороне, как они тотчас же исчезали со сцены.

Жозеф де Местр

Как и почему начинается самоистребление революционеров? Непостижимая для человеческого разума стихия, всё более свирепая и непреклонная, запускает свою адскую машину буквально с первых месяцев исторической смуты. И горе тем, кто не только пытается её остановить, но и просто не поспекает за скоростью катастрофических изменений.

«Все те, кто тщился избавить народ от его религиозных верований... все те, кто говорил: *карайте, лишь бы мы от этого выигрывали...* все те, кто предлагал и одобрял жестокие меры, направленные против короля... именно все те, кто призывал Революцию, все, кто этого хотел, совершенно заслуженно стали жертвами...

И здесь снова мы можем восхититься *порядком, господствующим в беспорядке* (курсив мой. — П. К.). Ибо совершенно очевидно, если хоть немного поразмыслить, что главные виновники революции могли пасть только под ударами своих сообщников...».

«Где первые национальные гвардейцы, первые солдаты, первые генералы (Лафайет. — П. К.), присягнувшие Нации? Где первые вожаки этого столь преступного собрания, определение которого — *учредительное* — останется вечной насмешкой? Где Мирабо? Где Байи со своим *прекрасным днём*? Где Туре, который выдумал слово *экспроприировать*?.. Можно было бы назвать тысячи и тысячи орудий революции, которые погибли насильственной смертью»¹⁵.

Автор «Санкт-Петербургских вечеров» писал этот текст по горячим следам в самой середине 1790-х. Продолжая его, можно было бы воскликнуть: где ещё недавно самые близкие, *свои*, где левые якобинцы-эбертисты (Эбер, Ронсен, Венсан, Моморо и др.). Где Шометт, глава Коммуны Парижа? Где умеренные якобинцы — Дантон, Демулен и дантонисты? И наконец, где Сен-Жюст, братья Робеспьеры, Кутон и ещё сотни других погибших от той силы, которую они сами же и породили? В XX веке гильотина будет сдана в музей (впрочем, не так уж и давно, в 1981-м; последнее гильотинирование в Европе происходит в 1977-м, в России последняя смертная казнь — в 1996-м). После Второй мировой застенки и массовые расстрелы становятся редкостью. Общество и государство худо-бедно гуманизируются. Однако на смену террору приходят кровавые этнические конфликты и войны, которых не было в мононациональной Франции...

Если же вспомнить 1986–2001 годы, то речь уже не идёт о физической гибели «революционеров». Клио частично утрачивает свою кровожадность, но она точно так же правит стихией, и по своим непостижи-

мым прихотям — то выбрасывает случайных людей на вершину, то тут же низвергает на самое дно. Все судьбы различны — кого-то пристреливают из-за угла, в подъезде или с чердака. Кто-то вовремя умирает или пропадает в безвестности, другие — спасаются за границей. Бегство демократа Собчака из Петербурга странным образом напоминает бегство демократа Керенского из Петрограда. Многие исчезают с поверхности политической жизни, но взамен получают синекуру, которой им хватит до конца их дней.

Какова конечная судьба наших славных революционеров? Если вспомнить хотя бы начало 2000-х, то где к этому времени наши отважные диссиденты, мученики сталинских, хрущёвских и брежневских лагерей? Где творцы «диктатуры литераторов», пламенные публицисты и критики конца 1980-х? Где «прорабы перестройки», где радикальные и межрегиональные депутаты первых созывов? Где все лидеры и участники демократических, христианско-демократических, республиканских и прочих народолюбивых партий? Где вундеркинды от экономики, гиганты мысли и отцы новой русской демократии? (Конечно, во все времена существует изрядное количество больших и маленьких фуше и талейранов, которые всегда удерживаются на плаву, пересаживаясь из одного кресла в другое, но уже не они «делают погоду».) Где, наконец, «король-реформатор» (сделавший ставку как раз на интеллигентов и «литераторов»), по чьей инициативе и началась революция сверху? Но что бы ни писали нынешние конспирологи, первый и последний президент СССР, начиная робкие преобразования в 1985-м, и в страшном сне не мог представить, что через шесть лет вместо чаемого социализма с человеческим лицом распавшаяся страна получит капитализм с лицом совсем не человеческим. А он сам, согласно безумно-разумной логике Клио, благодаря *порядку, господствующему в беспорядке*, закономерно должен будет стать «козлом отпущения», претерпеть публичные унижения, но по сравнению со своими предшественниками отделается лишь лёгким испугом...

VI. Термидор

Дитя, ты вырастешь свободным и счастливым человеком и этим будешь обязан презренному Гамлену. Я свиреп, так как хочу, чтобы ты был счастлив. Я жесток, так как хочу, чтобы ты был добр. Я беспощаден, так как хочу, чтобы завтра все французы... упали друг другу в объятия.

Анатоль Франс. «Боги жаждут»

Хроника самоуничтожения французской революции хорошо известна. Первыми под удар попадают жирондисты — именно потому что они самые одарённые, талантливые люди (достаточно назвать философа и математика Кондорсе), противники насилия, во многом прекраснодушные идеалисты: 31 мая 1793 года 31 жирондист арестован и предан суду. 13 июля пламенная идеалистка Шарлотта Корде, близкая к жирондистам, героически закалы-

вает «друга народа» Марата... Руки для террора развязаны и одновременно революция вступает в свою высшую фазу.

Левые якобинцы («эбертисты»), прежде всего Шометт и Эбер, пытаются упразднить христианство: осенью 1793 года Коммуна Парижа совершает то, на что не осмелились даже большевики, — повсеместно запрещается католическое богослужение. Церкви в Париже, Страсбурге и других городах превращаются в Храмы Разума, что сопровождается неистовыми кощунствами и религиозными погромами. 10 ноября в Соборе Нотр Дам во время «фестиваля свободы» актриса Парижской Оперы Тереза Обри коронуется как «Богиня Разума»...

Почти одновременно, в сентябре, якобинцы при активном участии эбертистов громят «бешеных» (радикальных коммунистов) во главе с бывшим священником Жаком Ру. 15 октября гильотинирована Мария-Антуанетта, а 31 октября на эшафот отправлен 21 жирондист во главе с Бриссо... Но уже вскоре террор якобинцев обращается против них самих: сначала против левых, эбертистов (казнены в марте — апреле 1794-го), а затем и умеренных — дантонистов (казнены 5 апреля 1794-го). В марте «культ Разума», прежде всего под давлением «руссоиста» Робеспьера, запрещён, но это уже ничего не меняет.

5 апреля 1794 года приговорённого к смерти Дантона вместе с товарищами на телеге везли к месту казни, на Гревскую площадь, как раз по улице Сент-Оноре, где в скромном доме столяра Дюпле жил неподкупный аскет Максимилиан Робеспьер. Рассказывают, что Дантон успел бросить свою пророческую фразу: «Максимилиан, ты скоро последуешь за мной!». Через три месяца, 9 термидора (27 июля) 1794 года правый переворот положил конец власти якобинцев. На следующее утро, 10 термидора по революционному календарю, Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон и ещё 19 сподвижников были гильотинированы на всё той же Гревской площади. 11 термидора ещё 71 якобинец последовал в том же направлении...

Важно отметить, что якобинцы не были «безумными радикалами», они были в определённой мере «центристами», более того — «государственниками», убеждёнными патриотами (в отличие от большевиков), уничтожавшими далеко не «всех подряд»: они пытались пройти по лезвию бритвы, но острое лезвие революции разрежало их самих.

Эти пляски смерти в полуфеодальной Франции к тому же невероятно театральны: публичные казни — жуткий Гран гиньоль наяву. Казнь эбертистов была встречена всеобщим ликованием в среде «правых» и роялистов, «которыми Париж был переполнен. На улицы высыпали толпы „мюскадэнов“, одевавшихся в самые невероятные наряды, и они преследовали приговорённых своими насмешками и оскорблениями, пока тех везли на казнь, совершавшуюся на Площади революции. Богатые господа платили шальные цены возле гильотины, чтобы вполне насладиться казнью Эбера... Площадь обратилась в театр, — писал Мишле, — и вокруг неё был

род ярмарки; массы весёлой публики гуляли на Елисейских полях между палаток и лавочек»¹⁶.

Гильотинирование Робеспьера и его команды было не менее театрализовано: «Раньше, чем их привезти на Площадь революции, их долго возили по улицам под оскорбления контрреволюционной толпы. Высший свет, собравшийся в полном составе на это зрелище, ликовал ещё более, чем в день казни эбертистов. Окна на пути процессии телег, вёзших революционеров на казнь, нанимались за баснословные цены. Дамы восседали в этих окнах в праздничных нарядах»¹⁷.

Якобинский террор закончился. Власть переходит в руки условно именуемого «термидорианского конвента», состоявшего из самых разнородных политических сил. С тех пор слово «Термидор» стало нарицательным — как неизбежная ступень в развитии любой большой революции.

Был ли Термидор в Советской России? Споры об этом до сих пор не закончены. Первыми о Термидоре заговорили противники НЭПа, самые непреклонные большевики. Наибольшую известность термин получил благодаря Троцкому, назвавшему перевороты в Советском Союзе во второй половине 20-х годов (разгром левой, а затем правой оппозиции) «сталинским Термидором». Эту идею подхватили меньшевики-эмигранты, западные социал-демократы и многие другие. Солженицын же в своём радикальном неприятии любых революций как таковых (пример консерватора, не способного проникнуть в сущность революционной катастрофы) категорически отрицает саму возможность Термидора, высмеивая «истеричку Троцкого» и полагая, что все основания тоталитарного режима в СССР были заложены уже к двадцать второму году, и дальше шло лишь «однолинейное развитие». Сталину в своём эссе он вообще не уделяет никакого внимания. И тем не менее Термидор, несомненно, был — по той простой причине, что никакая значительная революция *в принципе* не может обойтись без него. Тогда это означало бы, что революция длится и продолжается *перманентно* годы и десятилетия — как раз по Троцкому!

Борхес как-то очень точно заметил, что трудно, например, быть настоящим национал-социалистом, оставаться им всю жизнь и в глубокой старости спокойно умереть в своей постели. Он даже предположил, что Гитлер, с его культом смерти, бессознательно стремился к поражению, ибо чем иначе можно объяснить его безумное поведение в годы войны. Можно вспомнить и знаменитый лозунг франкистов: «Да здравствует Смерть!» (Разумеется, здесь речь идёт не об убийстве врага, а прежде всего о *личной жертве*.) То же самое можно отнести и к подлинным большевикам: «Свобода или смерть!» Революционеры редко умирают в окружении домочадцев... Термидор же означает остановку, ослабление революционных стихий, предел, далее которого они уже в прежней форме не могут развиваться. Он означает, что общество устало от потрясений и хаоса, энергия иссякла, и люди, попросту говоря, в большинстве своём

хотят *нормально жить*. Попутно заметим: из новейших революций Термидор пока не произошёл лишь в одной стране — на Кубе. Но ясно, что и он не за горами.

Историки с изумлением отмечают, что как только ядро якобинцев было уничтожено и умеренная буржуазная власть покончила с *массовым* террором, ещё недавно проникнутый духом революционной аскезы Париж изменился до неузнаваемости. Откуда ни возьмись появились огромные деньги, шикарные экипажи с породистыми лошадьми, прекрасные женщины в дорогих нарядах, щёголи, нувориши, беспечная золотая молодёжь. Вновь воскресла роскошь, открылись парфюмерные, ювелирные магазины и, что самое интересное, пятьсот, шестьсот, тысяча танцевальных залов и кафе (см., например, *Цвейг С. Жозеф Фуше*). Париж приобрёл свой прежний и будущий облик, все танцуют и развлекаются буквально на тех местах, где ещё недавно шли казни. Нельзя не привести ещё одно свидетельство с привкусом чисто парижского макабра: «Это увлечение танцами в богатых кварталах Парижа пришло как-то сразу и всех захватило. То были новые, странные танцы, не похожие ни на народные пляски революционных лет, ни на медлительные котильоны старого времени. Устраивались „балы жертв“, куда допускались только члены семейств, в которых кто-то был казнён. Полуголые женщины высшего света, похожие на проститутку, и проститутки, неотличимые от знатных дам, вместе с нарядными кавалерами при неярком свете свечей, под жалобную и пронзительную музыку танцевали странный танец, имитирующий судорожные движения головы и тела, падающих под ударом ножа гильотины. Танцевали и в темноте или при свете луны на кладбищах, на могильных плитах»¹⁸. Культ «Верховного Существа», который незадолго до своей гибели безуспешно пытался установить Робеспьер вместо «Культы Разума», вытесняется утончённым декансом и древним, как мир, культом Мамоны.

Нечто подобное, конечно же, в неизмеримо меньших масштабах, возникает и в первые годы НЭПа. Всё происходит несколько иначе, но жизнь везде и всюду неуклонно берёт своё. Революции и катастрофы очень быстро утомляют. Другое дело, что точные границы Термидора часто определить невозможно и в каждой стране он имеет свои особенности. Он может произойти за одну ночь, а может быть медленным, «ползучим», как это происходило в Советском Союзе в 1920–1930-е годы. Можно называть различные даты (этапы) — 1929, 1933, 1938, 1953 или 1956 год. Важно другое: раньше или позже не может не произойти «бюрократическая революция». Бюрократия (аналог буржуазии при социализме), без которой невозможно существование любого общества, медленно, но верно вытесняет собственно «революционеров» и окончательно подчиняет себе все сферы жизни. Так возникает «новый класс» (по Миловану Джиласу); он хотя формально и не обладает собственностью, но благодаря монополии на власть создаёт новую элиту, которая и правит страной.

VII. Генерал, генералиссимус, полковник

А офицер, незнаемый никем,
 Глядит с презреньем — холоден и нем —
 На буйных толп бессмысленную толочь,
 И, слушая их иступленный вой,
 Досадует, что нету под рукой
 Двух батарей «рассеять эту сволочь».

*Максимилиан Волошин.
 «Взятие Туильри» (1917)*

Когда на смену «религии революции», пассионарной аскетике и равенству в нищете возвращается культ Мамоны, нетрудно представить, что происходит в любой стране. Мы всё это в полной мере прошли в 1990-е, но удивительным образом схожие процессы, вплоть до совпадения в мелочах, сотрясали французскую республику двести лет назад. Термидорианский конвент крайне разнороден (его весьма напоминает постсоветский парламент 1992–93 гг.). Во-первых, это умеренно правые, буржуазия, депутаты-жирондисты, вернувшиеся в Конвент уже в декабре 1794. Где-то рядом — коррупционеры, нувориши, уже сколотившие на революции свои капиталы. Во-вторых — «охвосте Робеспьера» — своеобразная «банда четырёх» (Бийо-Варенн, Колло д'Эрбуа, Барер, Вадье — вскоре они будут арестованы, но не казнены, а сосланы на каторгу). В-третьих, крайне левые, остатки недобитых Робеспьером эбертистов, приветствовавших падение Неподкупного Робеспьера как диктатора и «душителя демократии», которых уж никак не заподозришь в поклонении золотому тельцу. Наконец, знаменитое «болото» (прототип «агрессивно-послушного большинства» ещё в первом советском парламенте), склоняющееся то в одну, то в другую сторону¹⁹. Но жрецы и служители Мамоны, как всегда, берут своё по той простой причине, что никакое общество не может нормально существовать без свободы торговли и частного предпринимательства, хотя, как известно, благополучия народу это не приносит.

Термидорианцы отменяют национализацию внешней торговли, государственную военную промышленность и якобинское законодательство о распродаже национальных имуществ. 24 декабря 1794 года Конвент отменяет твёрдые цены на хлеб и восстанавливает свободу хлебной торговли²⁰. Рост цен, хаос, включение печатного станка, обесценивание бумажных денег, скачки на бирже, инфляция, финансовые спекуляции, чудовищная коррупция, чехарда во власти, демонстрации, бунты, восстания, заговоры роялистов, с одной стороны, санкюлотов — с другой. Всё это не может не вызвать ностальгии по порядку, «сильной руке» и Генералу...

Самым опасным для Конвента внезапно оказывается вспыхнувшее 13 вандемьера (5 октября) 1795 года восстание роялистов, которым удалось собрать под свои знамёна более двадцати тысяч человек, в том числе и Национальную гвардию, очищенную после 9 Термидора от левых ради-

калов. Ситуация была предельно критической. Конвент обладал вчетверо меньшими силами, явно недостаточными для защиты дворца Тюильри, где проходили заседания. Командующий войсками Конвента Поль Баррас, казнокрад и бонвиван, каким-то чудом вспомнил обо всеми забытом и опальном генерале-корсиканце *Буонапарте* (после 9 Термидора за тесные связи с якобинцами и, в частности, с Огюстом Робеспьером он даже две недели провёл в тюрьме). Баррас сделал его своим помощником, и Наполеон нашёл единственно правильное решение — использовать артиллерию. Сорок пушек под покровом ночи были почти тайно доставлены в Париж. Дальше всё было делом военной техники. Мятежники, превосходящие числом, но не имеющие орудий, сконцентрировали у церкви Святого Роха значительные силы, направленные на штурм Тюильри...

Бонапарт (по некоторым версиям, в тот день испытывавший серьёзные сомнения) приказал открыть огонь, и после нескольких залпов все было кончено: «Паперть церкви Святого Роха была покрыта какой-то кровавой кашей»²¹. Эта бойня в центре Парижа опять-таки нам что-то мучительно напоминает... Не столько 14 декабря 1825-го, сколько октябрь 1993-го...

В отличие от 1792 года, когда безвестный офицер в бездействии наблюдал штурм республиканцами королевского дворца Тюильри, теперь у него было вполне достаточно батарей, чтобы «рассеять эту сволочь». То, что в 1792 году у Тюильри «этой сволочью» были санкюлоты, а в 1795-м по преимуществу роялисты, не имеет значения. Настоящий генерал всегда исполняет и отдаёт приказы. Некоторые современники и будущие историки были отчасти в шоке: канонада в центре столицы являлась событием неординарным. Но в момент победы Клио прощает своим любимцам всё. Именно 13 Вандемьера генерал Бонапарт, давний поклонник Руссо, превращается из опального генерала в национального героя — и уже больше не упустит фортуны из своих рук вплоть до бесславного похода на Москву.

После 18 Брюмера и множества военных побед Бонапарт достигает своего абсолютного триумфа и становится как объектом ненависти, так и образцом для подражания в глазах всей Европы двух последующих столетий. «Мы все глядим в Наполеоны» — не только малые и большие полководцы и диктаторы пытаются ему подражать, но его славят самые различные писатели и философы, совершенно несхожие друг с другом, от Стендаля и Байрона до Ницше, Леона Блуа и Мережковского. Наполеон — это рок столетия. Им безмерно восхищаются или же его ниспровергают... Так или иначе, Генерал завершает большую революцию. Он возвращает эмигрантов, вводит элементы реставрации, воссоздаёт императорский двор, который превосходит своей пышностью даже прежний — королевский, но на этом же революция и заканчивается.

В XX веке наполеоновскую треуголку пытались примерить на себя множество исторических персонажей — от Бенито Муссолини до Иосифа Джугашвили. Историки до сих пор спорят, были ли у маршала Тухачевского

бонапартистские амбиции. Доподлинно известно, что Сталин весьма интересовался судьбой корсиканца, проявлял интерес к апологетической наполеоновской биографии академика Тарле, читал её в рукописи и благословил к публикации. Но очевидно, что император-марксист — это недоумение и посмешище для всего мира. Поэтому был найден другой образец для подражания, и вслед за Оливером Кромвелем (или же Суворовым) отец народов присвоил себе скромное звание генералиссимуса.

Но вернёмся в 1990-е. Когда в обществе родилась идея-мечта о сильной руке и жёстком, но справедливом Генерале, который придёт на смену казнокрадам-временщикам и, наконец, наведёт Порядок? Нетрудно вспомнить — одновременно с гайдаровскими реформами, началом криминально-номенклатурного капитализма, нового культа Мамоны, который получит окончательное оформление уже в 2000-е. И почти в то же самое время, когда в либеральных кругах стали опасаться «номенклатурного реванша», — читай: Термидора. С одной стороны, надеялись на «продолжение и развитие реформ», с другой — то ли с ужасом, то ли с надеждой ожидали пришествия Генерала, причём как патриоты, так и либералы. И те и другие по-своему — уже не столько Бонапарта, сколько «русского Пиночета». Кандидатов в Пиночеты было немало. Их нетрудно вспомнить. Полуразрушенная страна, как несчастная невеста, томилась по грядущему Жениху. Известная либеральная экономистка в либеральном журнале «Знамя» в середине 90-х восклицала в эротическом экстазе: «Я жду Вас, Мой генерал!» Но, увы, с русским Пиночетом как-то не вышло. Генералы не выдержали напряжения и странным образом канули в небытие. Почему?..

VIII. Реставрация

Один из немногих физических законов, аналог которому можно обнаружить в исторических событиях, — это третий закон Ньютона: сила действия равна силе противодействия. Чем сильнее изначальный толчок, тем сильнее взрывная волна, тем мощнее катастрофа, но одновременно — тем резче будет откат. По сравнению с 1789 или 1917 годом пассионарный толчок 1991-го был — наверное, к нашему счастью — предельно слаб. А была ли вообще революция? Или всем надоевший режим сам по себе развалился изнутри? Конечно, некоторое подобие революции имело место, но взрывная волна угасла очень быстро. Отчего? Идеалы были слишком элементарны и трудно совместимы друг с другом. Свобода, справедливость, «правовое государство», с одной стороны, и «спасительный капитализм» — с другой. И возвращение к «нормальному обществу», то есть реставрация. История это проходила много раз. В результате пришёл закономерный хаос, опасный для любой страны, а для такой гигантской, как Россия, тем более. Поэтому «откат» в октябре 1993-го — бойня в центре Москвы — был недолгим, но трагическим, потрясшим весь мир, на чём соб-

ственно революционная эпоха и завершилась. Трагический хаос переходит в вялотекущий — трагедии продолжаются на окраинах империи, в столицах же царит унылая религия Мамоны и её извечная спутница — нищета.

Все ждут по-прежнему спасителя нации, но в такие мутные эпохи Клио обязательно понижает его в чине. Вместо чаемого Генерала, Генералиссимуса, «Пиночета» по своей неисповедимой прихоти она выносит на вершину всего лишь отставного *полковника* с Лубянки (успешного подать в отставку вовремя — 20 августа 1991 года, когда с путчем уже все было ясно). Его приводят к власти олигархи, которые вскоре становятся его врагами, ибо их ставленник быстро выходит из-под контроля (ситуация, весьма напоминающая Германию 1933 года).

Однако новый герой обязан соответствовать духу времени, а не творить его, и окончательно закрепить в 2000-е рождённый в 90-е культ Золотого тельца, убрав и изгнав лишь его несколько рьяных жрецов (которые, не следует забывать, и привели его к власти!), и посадив несколько своих опасных оппонентов. Но его возвышение вызывает гневное и справедливое возмущение: как такое возможно?! Лубянка, которая 70 лет изничтожала страну, вновь правит балом!

Надо вспомнить 1988–1992-й, когда никто не был так унижен, как некогда всемогущественные спецслужбы (вместе с коммунистами, разумеется). Ликование при свержении памятника Дзержинскому в 1991-м — глубоко символический акт, это наше «взятие Бастилии», которое не могло пройти бесследно. Сила действия равна силе противодействия. Круг замыкается. «Ползучий» Термидор получает достаточно чёткую границу — рубеж тысячелетий. Начинается эпоха реставрации с её фантастической смесью старого и нового: культом Мамоны, олигархами, возвращением советской номенклатуры и символики, «красных директоров», трудно отличимых от олигархов, всевластием спецслужб, полицейским контролем при относительной свободе, всеобщей продажностью и т. д.

Но опять-таки нельзя не провести последнюю аналогию и не вспомнить, наряду с монахом Фуше и аббатом Сийесом, ещё одного героя французской революционной эпохи — блистательного Шарля-Мориса Талейрана, епископа Отенского, затем князя Беневетского, несомненно, самого гениального *дипломата* в новейшей истории. Талейран благодаря протекции своей бывшей любовницы мадам де Сталь стал министром иностранных дел в 1797 году, ещё при Директории, и оставался им вплоть до 1808-го, когда он предал Наполеона, уже предчувствуя — своим особенным чутьём! — что звезда Бонапарта клонится к закату.

Мздоимством в те времена было трудно кого-либо удивить: «Но Талейран всё-таки удивил даже своих современников... Он брал взятки с Пруссии, брал с Испании, брал с Португалии, брал с Соединённых Штатов, брал с колоний и метрополий, с материков и островов, с Европы и Америки, с Персии и с Турции; брал со всех, кто так или иначе

зависел от Франции... или боялся Франции... Взятки он брал огромные, как бы не желая обидеть, например, великую державу, запрашивая с неё маленькую взятку»²². «Он продал Директорию, он продал Консульство, Империю, императора, он продал Реставрацию, он всё продал и не перестанет продавать всё до последнего дня», — горько сокрушалась впоследствии мадам де Сталь по поводу своего протеже²³. В 1815-м, уже после «ста дней», прозвучит финальный аккорд, знаменующий окончательное завершение революционных бурь и возвращение династии Бурбонов. Но слабый Людовик XVIII для восстановления полноты власти не может не воспользоваться услугами своих злейших врагов — Жозефа Фуше (убийцы брата короля, герцога Отрантского) и Талейрана. Он вынужден их принять в своём дворце и возвести Фуше в должность министра королевской полиции.

Писатели часто изображают роковые события сильнее профессиональных историков. Стефан Цвейг не жалеет ярких красок для живописания этой сцены: «Чтобы лучше ступать, хромой Талейран кладёт руку на плечо Фуше, — „порок, опирающийся на предательство“, по язвительному замечанию Шатобриана... Затем Талейран принимает на себя неприятную обязанность представить королю в качестве министра убийцу его брата. Преклонив колени перед „тираном“... для принесения присяги худощавый человек, став бледнее обычного, целует руку, в которой течёт та же кровь, что он однажды помог пролить, и присягает во имя Бога, чьи церкви он некогда разграбил и разгромил со своей шайкой в Лионе. Это чрезмерно даже для Фуше»²⁴. В замечании Шатобриана о «пороке» и «предательстве» первое от второго отличить очень сложно: их можно многократно поменять местами. Но именно с этого «союза» и началась новая эпоха...

Беспристрастная, «внепартийная» история Французской революции до сих пор не написана даже во Франции, замечает в конце XX века объективный историк Франсуа Фюре. Это неудивительно: мы смотрим на Французскую революцию как в зеркало, и если не до конца узнаём себя, то только потому, что исторические копии никогда не совпадают с оригиналом.

Но вопреки всему миф о революции вечен, пока существует история! И не важно, идёт ли речь о грандиозных событиях 1789, 1871, 1917, 1991-го или же о парижском студенческом шоу 1968-го, где, к счастью, не погибло ни одного человека. Вопреки миллионам трупов и сегодня революционный миф по-прежнему обещает тотальное Освобождение всех живущих от политических, социальных, расовых, монетаристских, сексуальных оков, техногенного, глобалистического, медийного насилия... Об этом снова твердят сотни литераторов-интеллектуалов на всех континентах, как, например, это делает в своих политических работах философ-маоист Ален Бадью или Жижек в книжке о Ленине.

Даже классик политико-философской мысли XX века Ханна Арендт в книге «On-revolution» (1963) после многих рек пролитой крови со святой простотой левых интеллектуалов создаёт настоящую Апологию революции²⁵.

Что это? Безумие, слепота, беспамятство, ущербность? Нет. Все революционные фантазмы — вариации извечного религиозного хилиазма, жажды праведной жизни и установления если не всеобщего счастья, то человеческой жизни в нечеловеческом мире. Разве можно лишать надежд страждущее человечество? Что мы все будем делать, если нас впереди ничего не ждёт, даже в эпоху Кали-юги, которая может продлиться ещё тысячи лет? Без исторических катастроф жизнь скучна, осуждать их — то же самое, что хулить грозы, ливни, цунами и, наконец, мечты и чаяния всего рода человеческого...

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Солженицын А. И. Черты двух революций. «Новый Мир». 1993. № 12.

Литература по Французской революции от Э. Бёрка и А. Токвиля, А. Мишле, И. Тэна до А. Матеза и современной историографии воистину необозрима, но её обзор не входит в нашу задачу. Из относительно свежих работ хотелось бы отметить книгу Ф. Фюре «Постижение Французской революции» и исследования Роже Шартье. Работы о русской революции более или менее известны.

² История Франции: В 3 т. М., 1973. Т. 2. С. 10.

³ Солженицын А. И. Черты двух революций.

⁴ Моррас Ш. Об интеллигенции. М., 2001. С. 27.

⁵ Шартье Р. Культурные истоки французской революции. М., 2001. С. 21.

⁶ Де Местр Ж. Рассуждения о Франции. М., 1997. С. 14.

⁷ Там же. С. 14–15.

⁸ История Франции... Т. 2. С. 26.

⁹ Манфред А. З. Три портрета эпохи Великой французской революции. М., 1989. С. 331.

¹⁰ Де Местр Ж. Рассуждения о Франции. С. 17–18.

¹¹ Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. London, 1990. Т. 2. С. 19.

¹² Де Местр Ж. Рассуждения о Франции. С. 23.

¹³ Там же. С. 25.

¹⁴ См.: Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000. С. 15–16.

¹⁵ Де Местр Ж. Рассуждения о Франции. С. 19, 25–26.

¹⁶ Цит. по: Кролоткин П. А. Великая Французская Революция. 1789–1793. М., 1979. С. 422.

¹⁷ Там же. С. 440.

¹⁸ Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. М., 1989. С. 86–87.

¹⁹ История Франции... Т. 2. С. 71–72.

²⁰ Там же. С. 74.

²¹ Тарле Е. В. Наполеон. Мн., 1993. С. 27.

²² Тарле Е. В. Талейран. С. 459.

²³ Там же. С. 532.

²⁴ Цвейг С. Избр. произв.: В 2 т. М., 1957. Т. 2. С. 312.

²⁵ Арендт Х. О революции. М., 2011. Книга условно делит все революции на «хорошие» и «плохие». К первым относится Американская война за независимость (именуемая почему-то революцией), ко вторым — Французская и Русская.